

ГРАНИ

GRANI

146

1987

Verlagsort: Frankfurt/M., Oktober-Dezember

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XLII

№ 146

1987

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Борис ФАЛЬКОВ. Во сне земного бытия или Моцарт из Карелии. Главы из романа	5
Ю. КУБЛАНОВСКИЙ. Где-то на рубежах синевы... Стихи	49
Александр ГРАНТ. Заговор муз. Мини-повесть	55
Вера МУРАТОВА. Дым Дымыч. Рассказ	88

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Мария ШНЕЕРСОН. Голос Шухова в произведениях Солженицына	106
---	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Проф. Н. В. ПЕРВУШИН. Кто был Александр Бланк?	134
Д-р В. ФЛЕРОВ. Болезнь и смерть Ленина	145

ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил ХЕЙФЕЦ. Новая "аристократия"?	175
--------------------------------------	-----

ИСТОРИЯ

Ударные части в русской армии (весна-лето 1917). Окончание. Публ. Н. РОССА	206
---	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Михаил НАЗАРОВ. О романе В. Белова "Все впереди"	227
Иосиф КОСИНСКИЙ. Крупный жемчуг	236
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	245
СОДЕРЖАНИЕ с № 143 по № 146	247

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Октябрь — Ноябрь — Декабрь 1917 года	253
Русская революция глазами петроградского чиновника. Из дневника 1917—1918 гг. Публ. Е. П. НИЛЬСЕНА и Б. ВАЙЛЯ	258
И. ЯШУНСКИЙ. Выборы в Учредительное Собрание	288

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Мария ШНЕЕРСОН

Голос Шухова в произведениях Солженицына

(К двадцатипятилетию "Одного дня
Ивана Денисовича")

*"Разные произведения автора
скрещиваются в его душе".*

А. Солженицын

"Один день Ивана Денисовича", впервые увидевший свет осенью 1962 года на страницах "Нового мира" — явление уникальное во многих отношениях.

Рассказ этот сыграл исключительную роль в развитии общественного сознания. Правда о советских лагерях, впервые сказанная в подцензурном произведении и признанная большевистской партией, потрясла весь мир.

"Один день Ивана Денисовича" явился поворотной вехой и в истории русской литературы; писать так, как писали до Солженицына, стало невозможно. Мастерство и безоглядная честность художника покорили сердца, потрясли души. И все значитель-

ное, что было создано после "Ивана Денисовича", так или иначе связано с этим новаторским произведением.

В творчестве и судьбе самого Солженицына "Один день Ивана Денисовича" также занимает особое место. Принеся автору мировую славу, рассказ спас его от новых репрессий, быть может, от смерти. Он открыл писателю дорогу в мировую печать. С рассказом связана и история создания великого "Архипелага ГУЛаг". "Печатание "Ивана Денисовича" поставило меня в исключительное положение, — вспоминает Солженицын. — Сотни людей присылали мне показания о лагере... Тогда я стал собирать "Архипелаг" "1.

Все это — общеизвестно. Но есть еще одно явление, над которым стоит поразмыслить: закончив "Один день Ивана Денисовича", автор не расстаётся с героем рассказа. Шухов, созданный воображением художника, оказался настолько ему близок, что продолжает сопутствовать писателю и в последующих его произведениях. И хотя все они написаны в ином речевом ключе, голос крестьянина-солдата-зэка Шухова нет-нет, да и прорывается то здесь, то там. Почему так происходит? И что это за голос? В чем его своеобразие? Как звучит он в иной языковой среде? Рассмотрению этих вопросов и посвящена настоящая статья.

* * *

Солженицын как-то обмолвился: "Я сам в душе мужик" (VI, 259). Эти слова многое объясняют в его творчестве и помогают, в частности, глубже понять языковую основу "Одного дня..." В очерках "Бодался теленок с дубом" Солженицын говорит о "доконной мужицкой сути" "Ивана Дени-

совича” и вспоминает, как А. Кондратович, читая рукопись, решил, что ”темный автор лагерного рассказа даже расстановки членов предложения толком не знает, да и слова-то пишет какие-то дикие”².

Многие читатели, притом и из числа доброжелательных, тоже сетовали на ”странный” язык повести. И лишь когда вышли в свет следующие вещи, стало ясно, что в первом произведении Солженицына звучит не авторский голос, а голос героя, глазами которого писатель смотрит на лагерный мир.

Повествование строится так, словно автор перевоплощается в ээка Шухова и воспроизводит его внутреннюю речь. Но такое перевоплощение оказалось возможным только потому, что существует глубокая духовная связь между писателем и созданным им персонажем.

В рассказе звучит не некий безликий, усредненный народный язык. Речь Ивана Денисовича отличается своеобразием, присущим именно ему, выражает его неповторимую индивидуальность. Достаточно сравнить язык его и Матрены, чтобы в этом убедиться.

У крестьянки Матрены преобладают мягкие, интонации, ее слова часто напоминают лирические песни или причитания (”певуче рассказывала”), как и слова женщины, встретившейся автору на базаре: ”Она не говорила, а напевала умильно” (III, 125). Вслушайтесь, хотя бы, в такой рассказ Матрены: ”Ой-ой-ойиньки, головушка бедная! Сколько невест было на деревне — не женился. Сказал: буду имячко твое искать, вторую Матрену...” (III, 143).

Язык Ивана Денисовича тоже связан с фольклорной стихией, но по своему интонационному строю он ближе к иным жанрам народного твор-

чества — прежде всего, к пословицам и поговоркам.

Помимо традиционных народных речений, которых не мало в рассказе, герой его часто употребляет пословицы, родившиеся в лагерях. Да и своим собственным наблюдениям и раздумьям придает он отточенную форму народных афоризмов ("Кряхти да гнись. А упрешься — переломишься"; "Двести грамм жизнью правят", "Миски нести — не рукавом трясти").

На протяжении всего рассказа мы неизменно слышим голос крестьянина, который остается мужиком и на фронте, и в лагере, ибо такова его природа, его суть.

Не потому ли и в его языке преобладают элементы традиционного крестьянского фольклора? Это проявляется и в складе речи, и в лексике. Так, бросается в глаза обилие инверсий, характерных для народной песни, былины, волшебной сказки ("море синее", "ночка темная", "конь добрый"). И у Ивана Денисовича: "ворота проволочные", "тряпица беленькая", "веревочка худая". Инверсия придает фразе особенно эмоциональное звучание. И, вместе с тем, делает речь ритмичной, поэтической. Например: "Солнце взошло красное, мглистое над зоной пустой..." (III, 35). Ритмический характер придают повествованию и повторы отдельных слов — явление также характерное для народной — поэзии ("Издобыть на снегу на голом", "и по зоне, и по зоне", "снег мелочкий-мелочкий").

С крестьянским фольклором сближает язык Шухова также обилие ласкательных и уменьшительных форм. Он говорит о полюбившихся ему людях: "Алешка-чистенький", "Гопчик — зайчишка, голосочек как у козленка"; о природе: "Да, солнышко на заходе. С краснинкой заходит и в туман

вроде бы седенький”. Столь же любовно говорится и о вещах, о еде, обо всем, что жизненно необходимо для человека. Ну и, конечно же, хлеб чаще всего называется ”хлебушко”.

Характерно для мужика Шухова, хотя и обогащенного военным и лагерным опытом, что сравнения он черпает почти исключительно из крестьянского обихода (видимо, подсознательно он все еще продолжает жить именно в этом мире): черпак горячих щей ”для него сейчас что дождь в сухмень”; придурки зэков ”повалили, как снопы”; ”за столом сидят один к одному, как семечки в подсолнухе”.

В рассказе существенное место занимает лагерный жаргон, но преобладает крестьянская лексика. Писатель зачастую сохраняет и фонетические особенности народного говора, и наиболее характерные отклонения от литературных норм (”хошь бы”, ”не окунумши”, ”поброют”, ”набраты”, ”хоцца” и т. п.). Но народный колорит повествованию придают не столько эти ненормативные формы, сколько образные, меткие выражения, благодаря которым язык делается особенно точным и красочным. Какие слова из книжного лексикона могли бы заменить столь сочные народные: ”внимчиво”, ”дерунок и духовит” (о табаке), ”сумутится”, ”разморчивая”, ”спотычливо”?)!

Фольклорная стихия сочетается и с бытовой, разговорной, что усиливает экспрессивное звучание рассказа. Порою кажется, будто это — не письменная речь, а устная. Отчетливо слышится голос говорящего, который словно обращается к различным персонажам: ”А что ж делать?.. Нет, вкальвай, падло!” (III, 43); ”Небось, небось, толстощекий. На себя б работал — еще б раньше поднялся” (III, 64); ”Да драть тебя в лоб, что ты гавкаешь?”

(III, 86). Вырванные из контекста, слова эти звучат, как прямая речь. Но нет — они органически включены в поток авторского повествования. (Здесь сказывается одна из характерных черт солженицынского стиля, которой мы будем касаться и далее: нередко в его произведениях стирается грань между речью прямой и повествовательной. Голоса автора и его героев сливаются).

Иногда кажется, что Иван Денисович обращает свой рассказ к какому-нибудь наивному новичку, которому спешит разъяснить законы лагерного житья-бытья: "А ноги близко к огню никогда в обуви не ставь, это понимать надо" (III, 48); "Пока в бараке живешь — молись от радости и не попадись" (III, 111); "Хуже нет, как брюхо растравишь, да попусти" (III, 106).

Богатство и сложность духовного мира Ивана Денисовича проявляются в том, что для речи его характерно разнообразие интонаций и частая их смена.

Преобладают спокойные интонации. Так может говорить и думать человек, который понимает, что плетью обуха не перешибешь, что надо приспособиться к жизни, а не "залупаться". Примеров можно привести немало: "Ладно, мы и тут, в уголку, ничего" (III, 36); "Ладно, зэка желудок все перетерпливает..." (III, 60); "Да он привычен, дело недолгое" (III, 119).

В трагическом рассказе о жизни каторжника могут показаться неожиданными бодрые, даже радостные интонации, которые звучат довольно часто: "Шухову весело, что все сошло гладко" (III, 78); "Сейчас ни на что Шухов не в обиде: ни что срок долгий, ни что день долгий... Сейчас он думает: переживем! Переживем все, даст Бог кончится!" (III, 101).

Но порой прорывается и за душу хватающая тоска. Она воплощена в пейзаже, в отдельных репликах, в самом строении фразы. Солженицынский герой ко всему притерпелся, но отнюдь не смирился. И чаще, чем тоска, слышатся гневные интонации. Бранная лексика встречается чуть ли не на каждой странице: "гады", "сволочь", "свиньячья морда", "чума", "дармоеды" ... Иван Денисович не скупится на подобные характеристики. Угадывается порой и матерная брань. Но художник истинный, Солженицын не опускается до натуралистического копирования речи лагерника. Писатель превращает язык бытовой в создание искусства, не повторяя дословно того, что произносится в повседневной жизни.

Как ни богата речь Шухова разнообразными оттенками, основная ее тональность — ироническая. Иван Денисович более склонен к презрению, нежели ко гневу. О тех, кого он ненавидит, говорится обычно с издевкой, саркастически. Тут сказывается одна из главных его черт — присущее ему чувство юмора, неугасимое, неискоренимое ни при каких обстоятельствах. Недаром часто встречаются ремарки такого рода: "Шухов обхохотался", "Смеется Шухов", "шутит", "скалится", "усмехнулся".

Живой, динамичный язык Ивана Денисовича, проникнутый юмором и отличающийся образностью, приводит на память слова Пушкина: "...отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться"³.

* * *

Бывший экз Щ—282, ставший знаменитым писателем Солженицыным, и созданный его воображе-

нием зэк Щ—854 — оказались навсегда связанными узами духовного родства. Завершив "Один день Ивана Денисовича", автор не расстался со своим героем, как об этом уже говорилось. Голос Шухова слышится порой и в других произведениях. Я имею в виду не общую тенденцию Солженицына, не его экспериментальную работу над языком, вызванную стремлением "выправить склад нашей письменной (авторской) речи, чтоб вернуть ей разговорную народную легкость и свободу" (X, 472). Я говорю о специфических особенностях, присущих именно голосу Шухова, которые отмечались выше. Автор настолько сроднился с Иваном Денисовичем, что в некоторых случаях, быть может, сам того не замечая, начинает говорить, как его герой.

Так, в исповедальной книге "Бодался теленок с дубом" есть страницы, разительно схожие с повествовательной манерой "Одного дня..." В этом плане интересен один из центральных эпизодов — рассказ об аресте и высылке писателя. Сходство проявляется и в общей фактуре языка, и в деталях.

Мы встретим тут прежде всего реминисценции фольклорного стиля: повторы слов ("Глазком шуршат, шуршат, смотрят, не посмотрятся"), инверсионные формы ("кабинеты следовательские", "хорек тюремный", "камнем литым"), ласкательные и уменьшительные ("мешочек", "рубчики", "хлебушек"). Нередко звучит и лагерный жаргон ("наседка", "вольняшка недобитый", "вертухай"). Широко использует писатель просторечие ("приспел и еще детина", "ни хрёнышка", "впросте", "улупился"). Пословицы же, которые и во всей книге играют существенную роль, здесь не только встречаются чаще, но и теснее связаны с

крестьянским миром. Последнее можно сказать и о сравнениях ("по привычности, как корова замирает под дойку").

Но главное, что роднит повествование с "Одним днем Ивана Денисовича" — преобладание иронических, а то и саркастических интонаций, напоминающих шуховский юмор. Не столько ненависть, сколько презрение слышится в таких по-шуховски острых словах: "лупятся гебисты", "рожа улыбится", "другой пособачистей". "Веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться" так и сверкают в следующем эпизоде: "Ба, с костюмом-то что! ... в чем-то мелком-мелком белом ... как собачья шерсть! Засуетился подполковник, позвал лейтенанта, щетку одежную, а кран благо тут, и велит лейтенанту чистить пиджак, да не так, ты воду стряхивай, а потом чисть, да в одну сторону, в одну сторону! Я — нисколько не помогаю им, мне-то что, мне — тулупчик верните..."⁴.

Шуховским сарказмом проникнута и драматическая сцена, когда зам. генерального прокурора СССР Маляров объявляет писателю обвинение в измене родине: "А за главным столом, сверкая лысиной, — маленький, вóстрый, пригнулся ... Главный вострый — щуп, щуп меня глазами, как никогда людей не видавши. Ничего, пош-щупай"⁵

И уж совсем, как Иван Денисович, говорит писатель о еде: "А вот и пайка. Не пайка: за кормушкой на подносе нарезанные буханки, отламывай и бери, сколь хошь. Ну, жизнь!"⁶ И затем, перед самой отправкой: "Доесть не дали, гром замка, выходить. Ну, хоть щи долопал. А хлеба-то я навалил на полку — кто теперь его одолеет? Сунул кус в карман пиджака, до этих Европ еще пожрать понадобится"⁷.

Конечно, голос Ивана Денисовича слышится наиболее явственно именно в этих сценах не случайно: переступив порог Лефортовской тюрьмы, писатель очутился в знакомой стихии: "... я железный зэк во мгновение, я сомкнулся с миллионами"⁸.

Следует отметить, что в отличие от "Одного дня Ивана Денисовича", в рассказе Солженицына о его аресте и высылке часто встречаются выражения, явно чуждые и не известные Шухову ("родные пенаты", "ретироваться", сравнение тюремного интерьера с "мрачным молчаливым цирком"). Солженицын не пытается имитировать речь своего героя, перед нами вовсе не стилизация, а живой голос самого писателя. Но когда он снова попадает в тюрьму, в словах его проступает особенно отчетливо то глубинное, то главное, что присуще ему и как человеку, и как художнику ("Я в душе мужик").

* * *

Аналогичное явление, но лишь на более широком полотне, в более разнообразных вариантах, встречается и в "Архипелаге ГУЛаг". И здесь, помимо общего стремления сблизить язык книжный с живым народным, явственно слышится голос Ивана Денисовича. Не раз упоминается и сам рассказ о зэке Щ—854 сыгравший столь большую роль как в судьбе автора, так и в истории создания "Архипелага". Писатель объясняет, почему он выбрал именно такого героя, спорит с критиками, вкривь и вкось толковавшими его образ, вспоминает историю публикации "Одного дня...", обсуждение рассказа в кругу гебистов.

Ни один из персонажей Солженицына, кроме

Шухова, не появляется на страницах "Архипелага". Причем Иван Денисович выступает здесь не только как вымышленный герой, но и в роли сорасказчика и собеседника. Писатель обращается к нему, как к живому свидетелю, в то же время подчеркивая собирательный характер этого образа.

В главе "Туземный быт", говоря о гибельном труде на общих работах, Солженицын отмечает, что Ивану Денисовичу невозможно найти какие-либо способы избавиться от каторжного физического труда. И тут же замечает: "Пусть он сам расскажет..." (VI, 200).

В первых же словах Шухова слышатся знакомые нам интонации, и кажется, что это — цитаты из "Одного дня...": "Вообще — как зэк живет?.. Ему если из песка веревки не вить, то никак не прожить ... В лагере так: на всех все равно не хватит, смотри, чтоб тебе хватило". Но тут же Иван Денисович сам себе возражает: "Так бы так, а вот скажи — все же по людскому обычаю и в лагере бывает дружба ... Сошлись душами и уже друг другу открыты". Здравый смысл сочетается в рассказе Шухова с неискоренимой человечностью и глубокой печалью ("Жить всем хоц-ца", "Живем — не люди, умрем — не родители"). Завершается этот рассказ так: "Ну, Иван Денисович, о чем еще мы не рассказали? Из нашей повседневной жизни?" — спрашивает автор и слышит в ответ: "Ху-уху! Еще не начали..." (VI, 204—205).

Больше нигде Солженицын так непосредственно не включает в повествование прямую речь Шухова. Но голос его время от времени звучит на протяжении всех трех томов "Архипелага". (Это объясняется духовной близостью, о которой уже говорилось.) Характерен такой диалог между автором и его героем: "Да у них и денег не бывает, у полити-

канов”, — ”У кого это, Иван Денисович, у н и х?” — ”Ну, у нас...” (VI, 202) Солженицын подчеркивает, что нет разницы между бывшим мужиком, ныне эзком Шуховым, и одним из ”политиканов”, будущим автором ”Архипелага”, который ”полностью делил злую долю народа”. Пятьдесят восьмая их сравняла, духовное сопротивление сблизило. И тот, и другой — ”народ в лагерях, наши Иваны”. И писатель приходит к выводу: ”Только сам став крепостным, русский образованный человек мог теперь ... писать крепостного мужика и з н у т р и” (VI, 451).

Неудивительно, что и в авторскую речь, стилистически бесконечно разнообразную, врываются нередко отголоски шуховского говора. Чаще всего они звучат наряду с книжной речью, придавая повествованию своеобразный, чисто-солженицынский колорит. Вот, например, словно бы Иван Денисович говорит о советском законодательстве: закон наш ”выворотлив”, ничего не стоит прокурору ”увеличить к а т у ш к у или подвести под д е в я т ь г р а м м ...” И далее встречаются специфические разговорные обороты: ”Как догадался? Вот спроси...”; ”А смотришь...” Но рядом стоят выражения и чисто книжные: ”прозревают будущее”, ”легион лжесвидетелей благоденствует среди нас...” (VII, 545—546). Такое сочетание книжных форм с разговорными вполне органично и естественно: автор ”Архипелага” — интеллигент, историк, художник. Ему близка народная точка зрения, народный здравый смысл и нравственные принципы, но он смотрит на вещи шире, яснее видит истоки и суть явлений. И с позиций художника-исследователя говорит ”за Россию безязыкую”.

Особенно часто слышится голос Ивана Денисовича в комментариях, которыми сопровождает

Солженицын приводимые в "Архипелаге" документы. Вот, например, рассказывается о процессе над эсерами и сообщается, что их обвинили в государственной измене. И тут же следует авторский комментарий: "Государственная измена! — она тоже перевертушка, ее как поставишь..." (V, 349). Далее, перечислив обвинения, выдвинутые против эсеров, писатель замечает: "Набралась обвинений мера полная и с присыпochкой — и уж мог бы трибунал уходить на совещание, отклепывать каждому заслуженную казнь, — да вот ведь неурядица..." (V, 351). Характерны и отдельные иронические замечания, вроде таких: "Катай-валяй!", "Так что и уши забиваете?" (V, 354). Аналогичные реплики рассыпаны по всему тексту. Вот говорит писатель о хитрых уловках Крыленко: "Ловок, в ступе не утолчешь"; о судьбе подсудимых: "Сколько еще по провинциям закатают — это уж вы смекайте сами" (V, 361); об основах бессудия, заложенных задолго до тридцать седьмого: "Лихо косою только первый взмах сделать" (V, 362).

Особенно явственно шуховский сарказм проявляется в рассказе о тюремщиках ("Псовая служба"). Например, об Антонове: "И ни с кем, сукин сын, не делится, все сует себе в утробу" (VI, 493); о Матвееве: "Да вот еще "хороший"! ... Нет, до ветру нам таких "хороших"! Такие все "хорошие" дешево стоят. По нам тогда они хороши, когда сами в лагерь садятся" (VI, 510).

Напоминают Шухова и строки "Архипелага", которые звучат как советы неопытному новичку. Таковы, например, рассуждения об арестантском пайке на этапе (глава "Корабли Архипелага"): "Ты бери, бери свои полселетки, пока дают, и радуйся! Если ты умен — селедку эту не ешь, перетерпи, в карман ее спрячь, слопаешь на пересылке,

где водица" (V, 474). А вот — о "прелести" пересыльных тюрем: "...лежи и не рыпайся! Кормят здесь гарантийкой, так горба ж не натрудишь. И когда не тесно, так и поспать вволю. Растянись и лежи от баланды до баланды... Убить бы день, а ночи не увидишь" (V, 527).

Подобные советы, напоминающие здравые рассуждения Шухова, сочетаются с другими, обращенными к духовному миру человека. Но и тут нередко угадывается знакомый нам голос. Иван Денисович не умел бы так сказать, да и проявлялась его духовная жизнь безотчетно, думал он больше о житейских делах. И все же, не только мироощущение, но и язык автора явно напоминают его героя (глава "Восхождение"): "Думай. Выводи что-то и из беды..." И придет, — продолжает писатель, — "сознание какой-то многомиллионной напасти. А от напасти — не пропасти. Надо ее пережить" (VI, 553—554). Все глубже постигая народную мудрость ("Сума да тюрьма — дадут ума"), автор проникался и ощущением своей причастности к судьбе народа: "Это было чувство всеобщей правоты. Это было ощущение народного испытания — подобного татарскому игу" (VI, 557).

Тут уж слышится не голос Ивана Денисовича. Это говорит писатель! Да и большинство страниц "Архипелага" написано не в шуховской манере. Но непосредственно предоставляя слово своему персонажу или повторяя его интонации, вводя его словечки, обороты, характерные речения, Солженицын, очевидно, рассматривает Шухова не просто как одного из созданных им героев. Нет, тут проявляется то нутряное, исконное, что всегда жило в душе писателя, но осознано было им лишь в годы испытаний, перенесенных вместе с народом. Это исконное начало определило и мироощущение

художника, и характер всей его деятельности, и особенности его поэтической речи.

* * *

Шуховский голос слышится порой и в эпопее о русской революции, где, по словам автора, "главное действующее лицо сама Россия" (X, 525).

Прямые суждения людей, подобных Шухову, вынесены в "Красном колесе" за скобки: наиболее важные главы завершаются пословицами. Вот что говорит сам писатель об этом приеме: " ... Пословицами выражается как бы голос народа. Я мысленно представляю среди своих читателей какого-то может быть даже неграмотного мужика, который слушал, слушал, слушал вот то, что там было в повествовании, и потом — раз, вlepил свою пословицу, врезал ее ... Это новое открытие смысла глазами народа..." (X, 529—530).

Так звучит в эпопее "глас народа — глас Божий". Тут нет прямой связи с образом Ивана Денисовича, но косвенная — безусловно есть. Ведь и в "Одном дне..." раскрывается правда о лагерях устами народа, ибо эх Шухов выступает как "один из наших Иванов".

Есть в "Красном колесе" и своеобразный двойник Ивана Денисовича. При всем различии эпох, ситуаций, возраста, общественного положения, индивидуального облика — родственен Шухову солдат Арсений Благодарев. Многие их сближает: и врожденное чувство человеческого достоинства, и совесть, и сноровка во всем, за что бы каждый из них ни брался, и умение приспособливаться к самым трудным обстоятельствам, и острое чувство юмора, склонность к шутке. И, наконец, главное: неискоренимая ни при каких обстоятельствах

(солдатчина, война, концлагерь) крестьянская сущность — связь с крестьянским обиходом, трудом, традициями, языком.

В главе, где впервые появляется в "Августе четырнадцатого" Благодарев (бой под Уздау), а далее — в тех случаях, когда рассказ ведется словно бы от его лица, отчетливо слышатся отзвуки шуховского голоса. И не только в прямых высказываниях Арсения, но весьма густо — в авторском повествовании о нем.

Вот, например, рассказ о блужданиях Благодарева и Воротынцева по полям сражений: "Да Сенька и так не хуже журавля ногами мерил — однако ж и полковник ходовит; ну без ноши, правда. Зато во все боки бегал узнавать ... Арсений рад был, что ушли. Окоп — яма могильная, и сам же ты залез туда, трясешься, как баран, тесака в шею ждешь. А по полю идти — свои руки, свои ноги, умирать вольней. А еще и поживем. В охотку пошел Арсений за этим растопорным полковником. В денщики б не урядился, а вот так обоюдком хорошо походить" (XI, 270).

И далее выразительные слова придают повествованию все то же "шуховское" звучание: "несручно", "скородышкой", "И — тóропом, наддавая". Характерны и такие чисто разговорные обороты: "Прям, брюхо разрывало — и с чего бы?"; "Бы со сковородки подскочил полковник ... Недолго и Сеньке: на одну руку сгреб, на другую — и ходом" (XI, 273, 275).

Порой читаешь и думаешь: доведись Ивану Денисовичу рассказывать о войне, он так же говорил бы о ней, как и Сенька: "А за все то время что-то погромчело, булгá поднялась: между именем и ближним лесом стояли пушки наши полевые — и вот занадорвались! вот как взялись! как со всей

деревни на одного прохожего собаки возьмутся, вот лопнуть бы хотели все сразу!" (XI, 276).

Следует отметить, что благодаревские интонации, лексика, общий стиль речи напоминают Шухова лишь в военных эпизодах Первого Узла. Сцены же в деревне, куда Сенька приезжает на побывку ("Октябрь шестнадцатого"), написаны в ином ключе: там очень сильно сгущены диалектизмы, редкие местные речения, что не характерно для языка "Одного дня Ивана Денисовича".

Отголоски шуховской речи слышатся и в других эпизодах "Августа", где рисуются солдаты. Особенно это ощутимо в рассказе о фельдфебеле Терентии Чернеге. То звучат фольклорные мотивы ("И — завертелась невзгодю погожая тихая ночь, после оброна месяца с одними только звезданьками" — XI, 415); то напряженный лапидарный разговорный язык, в котором неразличимы прямая речь и авторское повествование ("... ездовые заводили пушки, и Коломыка, рожа скулая, уже свою снимал с передка. И бежал штабс-капитан, во все руки махая! что́ махая? не надо? не надо было? Надо! надо... правильно, молодцы!!" — XI, 417).

Впрочем, следует отметить, что в "Красном колесе", рисуя события с точки зрения разных персонажей и соответственно меняя стиль повествования, Солженицын сравнительно редко воссоздает шуховскую речь. Ни в ленинских, ни в царских главах, ни там, где рассказывается о Гучкове или Свечине, об Алине и других людях, далеких от народной жизни, мы не услышим шуховского голоса. Но это не значит, что он вообще не звучит, когда повествуется об интеллигентах. Рассказ о Воротынцеве, Харитонове и некоторых других персонажах "Августа" часто переключается по

своему стилю с рассказом о Благодареве или Чернеге. И это — не случайно. Отголоски шуховской речи начинают звучать, когда рисуются персонажи, которые сознательно или интуитивно близки народу или стремятся сблизиться с ним.

Так, Ярослав Харитонов шел на войну в надежде "с народом слиться" (XII, 181). Он был убежден, что в солдатах таится "нравственная сила народной жизни" (XI, 314) и сам жаждал проникнуться этой силой. Очень экономно, не густо, в главы, где война рисуется с точки зрения Харитонова, вкраплены отдельные слова и обороты, вроде следующих: "радый", "вдиво", "неохочего солдатика". Нередко голоса солдат и мечтающего приобщиться к ним офицера сливаются, трудно сказать — он ли, они ли так, например, видят мир: "Не остановились при закате желта солнышка, пророчащего и на завтра такую же ясень, пыль и жару. Не остановились и в сумерки..." (XI, 146); "... и вся русская силушка уходила на объезд и обтаск, на то чтоб из вязкого места вытащиться снова на круть..." (XI, 146).

Еще отчетливее слышится шуховский голос там, где на войну мы смотрим глазами полковника Воротынцева. "Воротынцев умел воевать только не отделяя себя от солдат", его идеал — "соединение с простонародьем" (XIII, 144—145).

Ведь и Благодарева мы впервые видим глазами Воротынцева, и впечатление, произведенное этим солдатом на полковника, характеризует и того, и другого. С первой же минуты пришлась по душе Георгию эта "ловкая подхватистая фамилия, и так же подхватисто он выговорил ее, теплым помелом прошел по сердцу" (XI, 256).

В последующих главах сливаются голоса полковника и Сеньки, так что не всегда отличишь, чей голос звучит в данный момент. Но и там, где пове-

ствование ведется явно с точки зрения Воротынцева, постоянно слышатся отзвуки благодаревского (шуховского) голоса. Вот лишь немногие примеры: "Ведь друзьям плохо, для друга слазь и в грязь, а англичане когда еще через пролив спопашатся!" (XI, 125); "Ему-то не растолковано загодя!.." (XI, 262); "И увидел крупноокого запасника с бородой, какую бороной расчесывают" (XII, 21). Порою, быть может, в повествовании об образованном, интеллигентном офицере царской армии, выходе из дворянской семьи, кажутся странными слова типа "попереди", "сбочь", "спотычливо", "сподряд" и мн. др. в том же роде. Но чувство исконной связи с народом, с родиной, столь характерное для Воротынцева, объясняет и особенности языка в тех главах, где речь идет о нем. С радостью сознает герой Солженицына, как вливаются в его душу "забытые силы ядерной неисчерпаемой России" и приходит к убеждению: "Да ведь силы немеренные в этом народе!" (XI, 280).

Но вот что характерно: отзвуки шуховской речи в повествовании о Воротынцеве слышатся лишь там, где он предстает перед нами в военной обстановке. Когда же Воротынцев попадает в среду столичной интеллигенции, когда автор рисует его любовную драму — язык становится столь же далеким от шуховского или благодаревского, как и тот мир, с которым общается полковник, далек от народной жизни. Поэтому в "Октябре шестнадцатого" и в "Марте семнадцатого" речевая тональность воротынцевских глав резко меняется.

Вообще следует отметить, что в "Октябре", где в основном рисуется образованное общество, шуховские интонации почти не слышны. Различные персонажи здесь много говорят о народе, но не

знают его и не понимают. И речь их далека от народной.

* * *

Воссоздавая в "Марте семнадцатого" картины февральской революции, Солженицын, естественно, отводит много места массовым сценам и изображению самых различных слоев населения. Многие события рисуются с точки зрения простых людей, и народная речь часто слышится на страницах III Узла. Но — здесь звучит совсем не тот голос, который нам знаком со времен "Одного дня Ивана Денисовича".

Голос этот в "Марте" возникает крайне редко, а если и возникает, то в иной тональности. Ни живой смены интонаций — то спокойно-рассудительных, то иронических, то горестных, то ласковых, ни афористической отточенности, ни фольклорной образности, ни юмора — ничего, что столь характерно для Шухова, в повествовании о бунтующем народе мы не найдем. Зато заметно возрастает число слов и оборотов, свидетельствующих о невежестве говорящих.

Почему же в "Марте", где народ — рабочие, солдаты, матросы, городская беднота — занимает столь существенное место, знакомый нам голос, часто возникавший в "Августе", почти совсем перестает звучать? Ответ заключается в том, как Солженицын изображает февральскую революцию.

Это — особая тема, и в настоящей статье нет возможности подробно на ней останавливаться. Главное же заключается в том, что вопреки сложившемуся представлению о февральской революции как о мирной и бескровной, как о событии, которое могло бы благотворно сказаться на судьбе Рос-

сии, писатель-историк, опираясь на документальные материалы, раскрывает нечто совсем иное. И народ в "Марте" — его роль, настроение, поведение — также предстает в неожиданном свете.

В романе "В круге первом" Солженицын так определяет понятие "народ": "Не по рождению, не по труду своих рук и не по крылам своей образованности отбираются люди в народ. А — по душе. Душу же выковывает себе каждый сам год от году. Надо стараться закалить, отграничить себе такую душу, чтобы стать ч е л о в е к о м. И через то — крупницей своего народа" (II, 133). Человеком оставался Иван Денисович в губительной атмосфере советских лагерей. Человеком оставался Благодарев перед лицом смерти, неся тягостную солдатскую службу. А взбунтовавшиеся рабочие, солдаты, матросы потеряли человеческий облик, озверели и превратились в дикую толпу. "Толпа" же и "народ" — понятия отнюдь не идентичные.

Народ в "Марте" рисуется в разных ракурсах. С точки зрения интеллигенции, искони мечтавшей пострадать во имя униженных и оскорбленных, народ — это Народ! Однако в первые же дни революции, которую образованное общество встречает с восторгом, народ предстает перед своими защитниками не таким, каким он им казался.

Так, бывший студент, ныне прапорщик Шабунин, встав перед дилеммой — стрелять или не стрелять в бунтовщиков, не задумываясь, решает: "В народ — Страдалец, в Народ, перед которым мы извечно виноваты ... в Народ, конечно, Шабунин стрелять не будет и не даст". Но при столкновении с восставшими он видит не Народ, а толпу. Встретив препятствие, толпа эта "заорала, завьела", ринулась "со звериным воем" (XV, 407, 408).

Слова вроде "выть", "рев" и им подобные повто-

ряются не раз как в этой сцене, так и в аналогичных. Писатель не различает в одичавшей массе отдельных человеческих лиц: "хлынула толпа черных пальто и серых шинелей, все в красных лоскутах" (XV, 409). Цвета — явно символические: надвигается нечто серое, черное и красное — цвета крови и пожаров. И это "нечто" убивает народолюбца Шабунина.

Та же участь едва не постигла другого радетеля народа — офицера Станкевича. И он вместо Народа увидел разъяренную толпу: "кипела беспорядочная толпа солдат", "гневная масса", ощущалось "вулканическое дыхание стихии" (XV, 363—364). И Станкевич с ужасом понял: "Шла — толпа, ни к чему не прислушная, никем не судимая, ни за что не ответственная, не знающая никаких своих глашатаев и радетелей ... Не так он представлял себе братание с народом на заре свободы, но получалось так" (XV, 364—365).

Подобных эпизодов в "Марте" много. И по мере того, как нарастает бунт, слово "народ" в массовых сценах слышится все реже и все чаще заменяют его другие: "чернь", "банда", "стадо", "сборище", "дикий солдатский сброд", "черные толпы в тревожном движении". И звучат глаголы: "убили", "разграбили", "валит толпа", "бушует".

Читая "Март", нельзя не вспомнить "Двенадцать" Блока (существенная разница заключается лишь в том, что Солженицын, обогащенный трагическим опытом десятилетий, видит впереди не Христа, а Сталина и оскал ГУЛага). Блоковские мотивы, вроде следующих:

Запирайте этажи
Нынче будут грабежи,
Отпирайте погреба
Гуляет нынче гольтьба...

Или: "Уж я ножичком полосну, полосну..." — эти мотивы разворачиваются в потрясающие картины, и так называемая бескровная февральская революция предстает перед нами как страшная кровавая драма. С каждым часом становится "ярей народ" после того, как однажды он "крови отпробовал".

Разительно меняется и облик русского солдата. В квартиру Кривошеиных врывается толпа в серых шинелях. "Игорь обежал их лица — и вдруг не почувствовал своего всегдашнего любования русским солдатом: вместо смелости, подхватистой службы, терпения или юмора (как не вспомнить тут Благодарева! — М. Ш.) — что-то тупо-развязное, животное, отвратительное было в этих лицах" (XVI, 98). Арестованный неизвестно за что, Игорь попадает в толчею перед Таврическим дворцом: "И — разве первую толпу в жизни он видел? но никогда не замечал подобного: проступающей жестокости на многих лицах, и не в особый момент их возбуждения, а в этом будничном полувеселом состоянии в солнечный день подле Таврического. Как будто с известного антропологического, психологического, национального, сословного типа — сдернули верхнюю кожу, и у всех сразу проступила жестокость. И — жутко становилось, будто ты попал не в свой народ и на другую планету, и здесь можно ждать всего" (XVI, 99).

Так рисуется народ (точнее, революционная толпа) со стороны, с точки зрения различных народолюбцев. Но писатель изображает толпу и и з н у т р и, пытаясь понять ее психологию и глубоко заглянуть в помраченные души бунтовщиков. Он вызывает из небытия отдельные голоса, он вслушивается в их дикий хор, глазами толпы заставляет и нас увидеть революционные события.

Вот, например, в 129-й главе разворачивается

страшная сцена разгрома полицейского участка на Охте. Повествование ведется как бы от лица участников разгрома. На это указывают местоимения "мы", "наши", словно кричит сама толпа; указывает и специфическая лексика ("кажись", "почали"). Да и восприятие происходящего присуще именно тем, кто действует в этой сцене.

По ночной улице, разбивая на бегу фонари, несутся одичавшие люди и слышатся их голоса: "Как зазвенит да как потухнет — лихо на сердце!" Это — не прямая речь, но и не авторская. То же — во всей главе: "А в городе все — стреляют, стреляют. И зарева — ярко видны по темноте. От зарев — так и разбирает душу: эх, развернуться! да чем же мы хуже! ... Да что робеем, ребята? Да соберемся! Да все сразу?" Так постепенно нарастает чувство стадного восторга. А кончается все — жестоким кровопролитием. Один из избиваемых городских молит: "Братики!.. Ради Бога!.. Дети остаются..." Но беспощаден рев толпы: "Бей, кромсай их в мясо, не слушай! Ишь ты, дети! Добивай, чем схватил — палками, прикладами, штыками, камнями, сапогами в ухо, головы в мостовую, кости ломай, топчи их да втаптывай, да поплясьвай!"

Завершается эта кошмарная сцена всеобщим ликованием, в котором видится "зверь из бездны": "Эх, вот когда наша жизнь начнется — только теперь! Не хотим боле с полицией жить — хотим по полной слободе!" (XV, 546—547). Нам ли не знать, что эта "свобода до одури и рвоты" в конечном счете приведет народ к рабству — тоже до одури!

Неудивительно, что в подобных массовых сценах ни единый звук не напоминает человеческого, мудрого Ивана Денисовича. Невозможно представить себе ни его, ни Благодарева в толпе грабителей,

насильников и убийц, опьяненных водкой и кровью.

Однако в тех случаях, когда рисуется не бунтующая толпа, а отдельные люди из народа (обычно — солдаты), вроде бы и звучат отголоски шуховской речи.

Быть может, ближе всего к повествовательной манере "Одного дня Ивана Денисовича" — рассказ о волынце Вахове, который, по воле случая, стал членом Совета рабочих и солдатских депутатов.

Глава 146-я, где появляется этот персонаж, по мастерству — одна из самых блестящих, а по сути — одна из ключевых. В ней раскрывается и з н у т р и психология рядового участника событий, в которых он сам ровным счетом ничего не понимает.

Вахов — новобранец, лишь недавно попавший из глухой деревни в столицу, где он чувствует себя чужим, Питер для него — "хуже леса дремучего, сузёма, и для крестьянского сердца ни в чем тут заманности, а — тоска" (XV, 606). В сознании Вахова поначалу крепки нравственные принципы, но революционный вихрь затягивает его в свою воронку, и Вахов меняется на наших глазах.

Растерянный, напуганный, отбившись от своих, попадает Вахов поздно вечером в Таврический дворец. Там уже полным полно таких же бедолаг, как и он. "Пока по городу гоняли, кричали, стреляли, с налету брали здания — во всем была тысячная сила и заединство, и не страшно, а весело, как на лучшей гулянке, кружим как хотим. А где теперь та толпа? Да вольные погуляли — и по домам разошлись. А с солдата — голову" (XV, 603—604).

В таком настроении приткнулся он в уголке огромного зала, похожего на поле под крышей,

и попытался вздремнуть. Но не тут-то было. Подошли незнакомые люди, приказали: "Будешь депутат от Вольнского полка, никого от ваших нет. Пошли на совет депутатов!" — "На куда? Еще во что встрянешь глубже?" — думает в страхе Вахов. Но покоряется приказу. Прикололи ему для чего-то к груди красную тряпку. И чувствует его сердце что-то недоброе: " ...эт' еще занозливей куды-то втягивали. Солдату на шинели — нешто положено красное? Дурак любит красно, солдат любит ясно" (XV, 604).

Волей-неволей став "депутатом", Вахов вслушивается в речи ораторов. Все они наперебой хвастаются, кто больше своих офицеров убил, а "начальство" за столом плещет в ладоши, одобряя убийц. "И все до того радостны, ажник вот лопнут сейчас", — иронизирует Вахов, нисколько не разделяя всеобщего восторга. Напротив, он полон раскаяния и страха, и от похвальбы других у него "прям, засосало сердце: ведь придут, придут наказывать! ...Ведь без штрафа ничего не обходится, не бунтуй в военное время! И правда, шутка сказать: война идет — а мы своих офицеров на смерть уложили? Да ошастеннели, что ли?" (XV, 605). Так голос разума не умолкает в одурманенной голове солдата.

И когда дают ему слово, хочет он рассказать все по правде: нипочем бы не стали вольнцы бунтовать, "когда б не послали их на такое нелюдство вчера ... стрелять по народу. А только думали они — не идти в наряд ... Капитана Лашкевича — и сговору не было убивать, кто его убил, как? А как убили — так и сами себя отрубили, и весь свет уже тесен ... Как будто Вахов в одиночку погулял топором — и уже откинуть поздно, и забыть нельзя, в той крови, в том мясе все руки забрызганы —

и страшно вернуться на то место, где Лашкевича уложили” (XV, 606).

Так он воспринял события первого дня революции, да он ли один? Естественное нравственное чувство, надо думать, жило и в других сердцах. Но кровавый вихрь затягивал и затягивал в свою воронку. Понимал Вахов, что на Совете говорить, как он чувствует, невозможно. И вот, от имени Вольнского полка произносит он, хоть и невнятно, но нечто совсем другое: ” Мы, конечно, вольнцы первые... наша учебная команда... Мы, конечно, первые, а потом уже все за нами...’ — И осмелел, тут, среди них: — ’И если нужно будет, мы опять же постоим...’ И за него докончили, крикнули: ’Против самодержавия!’ ” (XV, 606).

Так насилует революция душу и волю человека. Теперь начинает и Вахову казаться, что все — дозволено; ”Как будто топор тот, несказанный, они ему с греха снимали”. Умолкает совесть, отпускает и страх. ”Такую-то тьму — не загонят в тюрьму?..” (XV, 606).

Раскрывая психологию одного из участников бунта, писатель обнажает процесс деградации сотен и тысяч других таких же простаков, под влиянием стадного безумия теряющих представление о добре и зле. Голос Вахова пока что напоминает шуховский, но, кто знает, не станет ли этот новоиспеченный депутат на следующий день кричать с другими озверевшими, ослепленными бунтарями: ”Бей! Жги!” Больше Вахов в первых двух томах ”Марта” не появится. Но его собратьев мы увидим не раз в роли поджигателей и убийц. И в рассказе о них уже не услышим шуховского голоса.

Так революция, едва начавшись, вливает яд в людские души, пробуждая в них наихудшие инстинкты. Вот почему в Третьем Узле нет того на-

рода, который близок автору, нет народа-человека, и голос любимого героя Солженицына заглушается звериным воем толпы. Закрывая второй том "Марта семнадцатого", мы с горечью повторяем знаменитые пушкинские слова: "Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный". Да и не только русский...

... "Красное колесо" не завершено. Возникнет ли еще на новых страницах эпопеи голос Ивана Денисовича? Ведь благодаревы и шуковы продолжали жить и после рокового семнадцатого. Даже в гибельном аду ГУЛага услышал Солженицын этот голос, и с тех пор он не перестает звучать в душе писателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Александр Солженицын. Собрание сочинений. Вермонт-Париж, ИМКА-пресс, 1983, т. 10, с. 513. Далее ссылки на произведения Солженицына, вошедшие в это издание, даются в тексте (в скобках указывается номер тома и страницы).

2. Александр Солженицын. Бодался теленок с дубом. Париж, ИМКА-пресс, 1975, с. 27.

3. А. С. Пушкин. Собрание сочинений. Москва, ГИХЛ, 1962, т. 6, с. 15.

4. "Бодался теленок с дубом", с. 464.

5. Там же, с. 451.

6. Там же, с. 460.

7. Там же, с. 468.

8. Там же. с. 453.

